



СОДЕРЖАНИЕ

Владислав АРТЕМОВ. Журналу «Москва» — 60 лет! 3

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владимир КРУПИН. Почеркушки на память 4

Максим ЕРШОВ. Сумерки. Стихи 15

Андрей ВОРОНЦОВ. Последний хеллувин маршала. Роман. Окончание 20

Андрей МАНСВЕТОВ. Рожденный в травах. Стихи 93

Юрий НИКИТИН. Хепши-энд. Рассказы 97

Галина ТАЛАНОВА. Ледяные брызги. Стихи 107

«Лето Господне». Третий сезон

Международного детско-юношеского конкурса
имени Ивана Шмелёва: кто победит? 110

ПУБЛИЦИСТИКА

Михаил СМОЛИН. Начала и концы революций 125

Петр МУЛЬТАТУЛИ. Господь ждет нашего выбора 130

КУЛЬТУРА

*К 50-летию первой публикации «Мастера и Маргариты»
в журнале «Москва»*

Светлана ЗАМЛЕЛОВА. Бриллиантовый треугольник Мастера 138

Николай КАЛЯГИН. Чтения о русской поэзии. Чтение двенадцатое 147

Лола ЗВОНАРЁВА. Маленький читатель 175

Алексей ЛЮБОМУДРОВ. «Утилитаризм и плебейство —
вот основы преобразования» 183

Наталья и Лев АНИСОВЫ. Русские художники 189

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Игорь ШУМЕЙКО. Юбилей и литература — два локомотива
нашей истории... 200

АЛЕКСЕЙ ЛЮБОМУДРОВ



«УТИЛИТАРИЗМ И ПЛЕБЕЙСТВО — ВОТ ОСНОВЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ»

**СТАТЬЯ Б.ЗАЙЦЕВА
«НАШ ЯЗЫК» В КОНТЕКСТЕ
ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ
РЕФОРМЫ**

Алексей Маркович Любомудров родился в 1958 году в г. Котельнич Кировской области. Окончил ЛГУ. Доктор филологических наук.

Ведущий сотрудник ИРЛИ РАН (Пушкинского Дома). Главный редактор журнала «Русское самосознание».

Печатается в журналах «Москва», «Литературная учеба», «Литература в школе», «Вече», «Купель», «Роман-журнал XXI век», «Всерусский собор» и др. Автор книг «Знамения Божии от святых икон», «Вечное в настоящем» и др.

*Член Союза писателей России.
Живет в Санкт-Петербурге.*

КУЛЬТУРА

**К 100-летию
реформы правописания**

В творческом наследии Б.К. Зайцева, утонченного лирика, певца «спокойствия», «уединения» и «тишины» (названия его рассказов), редко можно встретить острую публицистику на злобу дня. Яркое, страстное, эмоционально окрашенное слово впервые прозвучало из его уст, когда он выступил на защиту национальной культуры, за «цветущую сложность» родной речи. Статья «Наш язык» была напечатана в еженедельнике «Народоправство» 7 декабря 1917 года (№ 17) и с момента появления в этом редком издании больше не публиковалась. Спустя сто лет мы публикуем этот текст, столь созвучный нынешним спорам о культурном достоянии России.

Журнал «Народоправство» редактировался другом Зайцева — писателем Г.И. Чулковым, выходил с июня 1917-го по февраль 1918 года. На его страницах печатались статьи московских ученых, философов, литераторов (среди которых А.Толстой, Г.Чулков, Вл. Ходасевич, А.Ремизов, Вяч. Иванов), обсуждались последствия революции, вопросы государственного и культурного строительства новой России.

Выступление Зайцева в защиту традиционной орфографии стало первым после прихода большевиков к власти. Однако советские декреты о переходе на новое правописание еще не были выпущены. Стоит напомнить, что реформа готовилась задолго до революции: она обсуждалась в Орфографической комиссии, созданной в 1904 году при Академии наук и включавшей в себя видных лингвистов — они-то и подготовили проект упрощения правописания. С самого начала обсуждения проекта российское общество разделилось: реформу поддержали ученые-филологи, преподаватели школ, но резко не принимали писатели и критики: они рассматривали традиционную орфографию как национальное достояние. В императорской России реформа была приостановлена, но Временное правительство не мешкая взялось за ее реализацию: 11 мая 1917 года было утверждено «По-

становление совещания при Академии наук под председательством академика А.А. Шахматова по вопросу об упрощении русского правописания» (в нем перечислялись все изменения). Вслед за тем циркуляры министра народного просвещения А.А. Мануйлова от 17 мая и 22 июня предписывали попечителям учебных округов перевести школы на новое письмо. Здесь протесты уже не помогли (например, М.Шагинян летом 1917 года высказывала опасения, что реформа «удастся многое запутать и многому повредить... в деле народного просвещения»).

Большевицкая власть посчитала дело ломки прежней орфографии первоочередным: уже 23 декабря 1917 года нарком просвещения А.В. Луначарский выпустил декрет, предписывающий всем государственным изданиям использовать новое правописание. Однако новшество не приживалось, периодика продолжала выходить на старой орфографии, и 10 октября 1918 года вышел еще один декрет Совнаркома — «О введении новой орфографии», окончательно закрепивший реформу. Использование традиционной орфографии рассматривалось как пособничество контрреволюции и каралось огромными штрафами. Из типографий насильственно изымались запрещенные наборные литеры «ять» и «ер». Так старое русское правописание было буквально выкорчевано из культурной жизни народа.

Таким образом, Зайцев полемизирует с пунктами «упрощения русского правописания», принятыми еще Временным правительством, — за две недели до их официального подтверждения правительством советским. Главный критерий, с которым Зайцев подходит к оценке реформы, эстетический: искажая облик языка великой русской литературы, она внедряет в общество «гнусный волапок¹». Черты реформы — утилитаризм и плебейство, которому оказались причастны ученые и педагоги со своим «бухгалтерским» подходом к слову. Мнение людей искусства, художников слова было проигнорировано. Писатель ссылается на опыт Франции, где похожий проект реформы орфографии, предложенный филологами, был забло-

кирован писателями и широкой общественностью. В России же вершат дела бездушные чиновники — традиционная беда русской культуры.

Зайцев озабочен неизбежным снижением уровня образования, прежде всего школьного, в котором очевидны тенденции к «сокращению и упрощению». Эти мысли разительно перекликаются с сегодняшними спорами, касающимися предметов русского языка и русской литературы. Он предвидит, что реформа приведет к умственной и культурной деградации народа.

Еженедельник «Народоправство» не раз уделял внимание вопросам сбережения русского слова. Художественный критик Д.Е. Аркин напечатал статью «Судьба языка» (1917. № 8), где рассуждал о трагическом расколе языка интеллигенции и языка народа, усматривал в обеднении речи признак общего духовного обнищания («упадок языка стоит в тесной связи с упадком национального сознания») и ставил задачу «очищения речи» — возможного лишь «через очищение нашей собственной души». В том же номере, что и материал Б.Зайцева (17 декабря), была опубликована статья художника Н.В. Досекина «Обязательная неграмотность», темы которой перекликаются с тезисами Б.Зайцева. Отмечая «всеобщее несочувствие реформе», автор пишет, что выступают за нее лишь «ремесленники преподавания». Они забыли об «органической иерархии ценностей, нарушение которой всегда ведет к падению культуры». Общество не должно позволять министрам «уродовать всенародное достояние» в угоду полуграмотной России.

Статья Бориса Зайцева завершается призывом к русской интеллигенции не ограничиваться кулуарными пересудами, но решительно выступить в защиту традиций. Однако в условиях наступившей диктатуры публичный протест становился все более проблематичным. Откликнулся Вяч. Иванов, написавший для известного сборника статей о русской революции «Из глубины» (1918) свои заметки с точно таким же названием — «Наш язык» (очевидно, сознательно ориентируясь на Б.Зайцева). Возражая против «произвольных новшеств»,

поэт-символист говорит о духовном смысле реформы. Он видит в ней искусственное обмирщение языка, намерение вытеснить из него церковнославянские элементы. Но к читателям этот текст попал не скоро: тираж сборника был изъят из обращения.

Другие оставили нелюбимые суждения о реформе в дневниках — как, например, Александр Блок или Иван Бунин, записавший 24 апреля 1918 года: «По приказу самого Архангела Михаила никогда не приму большевицкого правописания. Уж хотя бы по одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописанию» («Окаянные дни»); впоследствии Бунин называл его «заборным». Позже политический, историко-культурный и духовный смысл реформы был глубоко проанализирован в работах Ивана Ильина, архиепископа Аверкия (Таушева).

Таким образом, статья Б.Зайцева стала едва ли не единственной апологией старой орфографии, опубликованной русским писателем в России советского периода и дошедшей до читателя.

Сам Борис Зайцев сохранял верность прежнему письму на протяжении всего долгого творческого пути, завершившегося в 1972 году. Издания русского зарубежья в массе своей перешли на новую орфографию только в

послевоенные годы, хотя некоторые печатные органы сохраняют ее поныне.

Сегодня очевидно, что отказ от традиционной орфографии был составной частью насильственного изменения культурного кода русского народа. Упадок письменной и устной речи, беззащитность перед англоязычной экспансией и жаргоном — прямые следствия этой ломки. Современные филологи полагают: «Отказ от старой орфографии под предлогом того, что она была слишком трудна и громоздка... привел к отчуждению носителя языка от самого облика классических литературных текстов, религиозной литературы, к отчуждению от духовности» (Каверина В.В., Лещенко Е.В. Буква «ять» как идеологема российского дискурса на рубеже XIX–XX веков // Вопросы когнитивной лингвистики. 2008. № 3). Ценность старой орфографии признается сегодня многими. О полном возвращении к старому письму речь, конечно, не идет, но вполне реальна задача восстановить прежнюю орфографию в русской классической литературе, вернуть ей первоначальный вид. Первые попытки в этом направлении уже делаются.

За сто лет, прошедших со дня публикации Б.Зайцева, ее мысли не утратили актуальности. Пусть нас поддержит и вдохновит голос классика — одного из тех, «для кого слово есть жизнь и воздух».

БОРИС ЗАЙЦЕВ

НАШ ЯЗЫК

Знакомая девочка Маша, прилежная труженица, вернувшись из школы, сказала: «А у нас-то что! Мы теперь без твердых знаков пишем, и без *ять*. *Г с точкой* тоже не нужно. Учителя велели. Смешно как! Мы все ошибаемся, и сами учителя ошибаются!»

Трудолюбивая Маша, разумеется, привыкнет, если ей «прикажут». «Привыкнут» и учителя — им приказали чиновники из министерства. Вероятно, привыкнет и безграмотная, бессловесная Русь. Может быть, даже родное нечто почувствует: надписи мелом и углем на заборах и в демократических уборных — с детства знакомая картина — давно приняли новую орфографию. В этом смысле они национальны.

Ее охотно примут и те многочисленные люди, которые сочтут ее раскрепощением языка от «царизма». Число твердых лбов всегда было очень значительно.

Образованное русское общество посмеивается, слегка будирует, называет реформу «глупостью», но в общем тоже, конечно, безучастно. Где там рассуждать о несчастном *ѣ*, когда на носу немцы. Впрочем, если бы и не немцы, и не революция, тоже мало кто заинтересовался бы: кому какое дело до языка! Ужасно интересно. Мало ли что говорил умирающий Тургенев о «великом и могучем» русском языке. На то он писатель, это его и дело. Есть действительно люди, для которых вопросы языка небезразличны; верно и то, что это в первую голову писатели-художники, те, кто полжизни провел в общении со словом, для кого слово есть жизнь и воздух. К реформе языка они не могут быть равнодушными.

Думаю, что в вопросе о новом правописании есть две стороны: филологическая и эстетическая. Не будучи филологом, не стану распространяться о первой, укажу лишь на следующее: допустим, что после Петра *ѣ* стали писать не там, где надо, и в некоторых словах, где по корню *следовало бы* его писать — писалось *е*. (Так говорят филологи.) Следует ли из этого, что *ѣ* должно быть выброшено вовсе? Казалось бы, вывод один: надо восстановить в некоторых, искаженных, словах их прежнее правописание. Само же *ѣ* есть, несомненно, отголосок древнего некоего звука (йотированное *е* или другая долгая гласная — безразлично). Знак долготы существует в греческом языке. Во французском *accent circonflexe*², с ребячества знакомый нам «домик» над гласными, указывает на древнее благородство звука, его как бы именитое родословие (от происшедшего Бог знает когда слияния). Пусть в произношении он яснее нашего *ѣ*. Надо оговориться — для французов яснее; мы же, русские, в произношении его сплошь и рядом не улавливаем. В нашем *ѣ* есть тоже звуковое отличие от *е*, правда, очень тонкое — наш язык и вообще очень тонкое и сложное орудие. *Ять* острее, я бы сказал — ядовитее по звуку, чем *е*. Горячее его. Оно почти всегда вызывает на себя ударение и смягчает предшествующую согласную. Отзвук древнего *і* в нем не утерян³. Выбрасывать его — значит упрощать язык в дурном смысле, лишать его оттенка.

Тут мы подходим, по-видимому, к сердцу реформы, к ее эстетике, на что в особенности я и обращаю внимание. Ее эстетика ничтожна. Все сделано из утилитарных соображений. Утилитаризм и плебейство — вот основы «преобразования».

О каких «оттенках» можно говорить, когда никто из реформаторов ни о каких красках в языке не думал, ни о какой красоте языка речи не подымалось и подняться не могло, ибо реформа исходит не от художников слова, а от бухгалтеров его. Не поэты, а учителя гимназий и университетов хлопчут над созданием обновленного языка, который должен стать лучше прежнего. Явно, что дух учителя гимназии веет над попыткой обратить русский язык в эсперанто⁴.

Прежде учитель гимназии молчал, хотя и был либерален и «благороден». Теперь заговорил. О, у него свои, домашние дела. У него ученики, которые делают много ошибок на букву *ѣ*. При Кассо⁵ он ставил им двойки и оставлял на второй год. Теперь он гуманнее и делает ученикам облегчение, «упрощает» язык, не им созданный, драгоценное наследие прошлого. Язык приспособляется для низшей школы, для ее удобства. Приспособляют его также для торговых контор, банков, промышленности, для газет, большевистских воззваний. Тут упрощение есть — экономия сил, рубль, в конечном счете. Практика, Америка. Один горячий писатель⁶, прославившийся тем, что книги Пророков отнес ко временам

послеевангельским, прямо писал о «ненужных» буквах: их надо изъять из типографий и перелить в пушки для защиты родины. Не все ли равно для человека «практического», как набирать пушкинское стихотворение:

Рѣдѣть облаковъ летучая гряда

или

Редует облаков летучая гряда.

Что дешевле и что «передовее», то и лучше. Разве флюберовский аптекарь Омэ⁷, бессмертный здравый смысл, заинтересуется магией слова? Он ее не видит, не слышит — и не воспринимает.

Для тех, у кого нет ни уха, ни глаза, реформа протекает вполне благополучно. Сегодня отменили три буквы, согласование прилагательного с существительным во множественном числе⁸. Почему бы завтра не отменить *видов* глагола? К чему там оттенки, столь трудно дающиеся иностранцу и осложняющие дело, — «отставить» их. А уже там недалеко и до самых глагольных форм. «Сократить», «упростить», сделать так, чтобы всем стало понятно. Ведь работают же эсперантисты над своим языком, по-своему — небезуспешно. Правда, он отзывает гомункулюсом⁹, химической риторкой... Ну, что поделаться. Зато удобно.

Безобразие, нетворческий и мертвенный характер реформы особенно ясны тогда, когда в руках держишь страницы, напечатанные на этом гнусном волапуке. Надо быть или ослепленным фанатиком, или вообще ничего не понимать в языке, чтобы это нравилось. Дух Пушкина, Толстого, Гоголя передается теми же приемами, какими безграмотный хулиган пишет на заборе. На великих словах является налет чужого, скверного. Сочетания *ие, ия* вместо *ие, ия* определенно напоминают Малороссию, то есть опять-таки простонародный говор. Пушкин как бы переводится на некоторый плебейский жаргон. Я не хочу задевать украинцев, но нельзя же отрицать, что их язык есть язык крестьянства; и насколько он хорош для народных песен, настолько же убого звучит на нем, например, Ибсен («Лялькаина хата»¹⁰).

В редакции журнала, несколько номеров которого печатались по новой орфографии, против нее заявили протест сотрудники-живописцы. Они единогласно утверждали, что зрительно, графически новая письменность отвратительна. Она губит всякий, даже лучший шрифт. Упоминаю об этом потому, что голоса художников не считаю возможным обойти. От этой орфографии пришлось отказаться.

Из всего изложенного ясно, я думаю, что реформой язык не *повышается*, а *понижается*, не толпу намерен поднять за собой реформатор, а сам спуститься до уровня толпы. В этом и есть плебейский оттенок реформы.

Характерно и то, как это нововведение вводилось: вполне игнорировали людей искусства, художников слова. Это уже древнечиновничья русская закваска. Русская литература, прославившая Россию на весь мир, чуть не единственное наше незыблемое достояние, — русская литература была на дурном счету как у Николая I и всех дальнейших, так и у нынешних хозяев. Русским художникам, которых при жизни все ругают, кому не лень, можно ставить иногда памятники (если кости вполне истлели). Но считаться с ними, признавать их голос влиятельным — это для аптекаря Омэ чрезмерно. Он лучше заложит свой проект съезду «преподавателей в городских училищах»¹¹, чем Мережковскому, Бунину, Вячеславу Иванову... Что же, русские писатели привыкли.

Я думаю все-таки, что некоторым организациям, например клубу московских писателей, следовало бы высказаться. Среди поэтов, беллетристов и философов я не встречал еще ни одного защитника нового письма. Все смеются и говорят неизбежное: «глупость». Но быть может, одного смеху мало. Конечно, жизнь находится целиком в руках дельцов, политиков и чиновников; практического значения слова наши, горсточки непрактических людей, иметь не будут. Все же нынешняя русская литература может и должна подать свой голос в вопросе, близко ее касающемся. Не надо забывать, что лет через пятнадцать не только дети наши начнут писать на эсперанто, но и нашу прозу и стихи станут печатать на иностранном жаргоне в угоду кучке чиновников, при безгласии безгласной России. Если нам это не понравится, нас спросят: «Почему же вы молчали?»

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Волянюк*, или *волянюк*, — международный искусственный социализованный язык, созданный в 1879 году немецким католическим священником Иоганном Мартином Шлейером.

² *Accent circonflexe* (циркумфлекс (*фр.*)) — диакритический знак над гласной; обозначает открытый характер звука.

³ Ряд ученых полагает, что различие в выговоре букв *e* и *ѣ* исчезло в XIX веке, другие утверждают, что особое произношение *ятя* сохранялось в речи и в начале XX века. В ряде диалектов особый оттенок звука *e* на месте прежнего *ятя* наблюдается до сих пор.

⁴ Во Франции недавно была попытка реформы орфографии, но провалилась под ударами французских литераторов (см., например, Remy de Gourmont, статью в его «Promenades Philosophiques»). — *Примеч. Б.К. Зайцева.*

На рубеже XX века во Франции по поручению Министерства просвещения филологи П.Мейер и Ф.Брюно разработали проекты реформы правописания. В результате дискуссии, в которой с критикой реформы выступили видные писатели, Французская академия не дала санкцию на ее осуществление. Б.Зайцев имеет в виду статью французского писателя и критика Реми де Гурмона (1858–1915) «Попытка упрощения орфографии» («Essai sur la simplification de l'orthographe») в его книге «Философские прогулки» (Париж, 1905).

⁵ *Кассо Лев Аристович* (1865–1914) — министр народного просвещения в 1910–1914 годах, при котором был усилен контроль над учебными заведениями и деятельностью педагогов.

⁶ Речь идет о Н.А. Морозове (1854–1946), который пересмотрел всю библейскую хронологию — в частности, относил книги пророков к V веку н.э. Он же вынашивал идеи составления «рационального алфавита», считал ненужными буквы *ѣ* и *Ѥ*, предлагал заменить знак точки звездочкой, ликвидировать прописные буквы и т.п.

⁷ *Аптекарь Омэ* — персонаж романа Г.Флобера «Госпожа Бовари», олицетворяющий торжествующую пошлость. Глупый и невежественный, он претендует на роль светоча мысли и носителя просвещения.

⁸ Отменялись буквы *Ѣ, Ѥ, Ѧ, Ѩ, ѩ, Ѫ*. Устанавливалось единое написание окончаний для именительного и винительного множественного числа всех родов (например, вместо *добрыя дѣла, синія рѣки* — *добрые дела, синие реки*).

⁹ *Гомункулус* или *гомункулус* (*homunculus* (лат.)) — человек) — в представлении средневековых алхимиков существо, подобное человеку, которое можно получить искусственным путем.

¹⁰ В современных украинских изданиях название пьесы Г.Ибсена «Кукольный дом» (1879) переводится как «Ляльковий дім» или «Ляльковий будинок».

¹¹ За реформу, например, высказался Всероссийский съезд преподавателей русского языка и словесности, проходивший в декабре 1916 — январе 1917 года в Москве.